Порто-Ленто. Пропавшая чаша



Евгений Павлов

Евгений Павлов

Порто-Ленто. Пропавшая чаша

«Автор»
2026

Павлов Е.

Порто-Ленто. Пропавшая чаша / Е. Павлов — «Автор», 2026

Лигурия, весна 1958 года. В Порто-Ленто не идёт рыба, крыша церкви Nostra Signora del Rosario протекает уже четыреста лет, и в последнее воскресенье апреля, в день праздника Сагры дель Песке, из ризницы пропадает золотая чаша XV века — с рыбой на ножке и четырёхвековой историей присяг и причастий. Кража без взлома: двери заперты, ключи на месте, и в ту ночь весь город, кажется, спал.Вторая книга «Детектива Порто-Ленто» — снова две тетради Микеле Гаравенты: расследование, записанное день за днём, и записки о городе, который держится на приходской гордости, вдовьих счетах и обещаниях у жаровни. История о том, что всё оставляет след — пыльца, царапины, слова, — и что некоторые следы невозможно вычеркнуть, как вычеркнутую строку в приходской книге.

© Павлов Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Первый u Scetino 5
Глава 2. Лекция о пыльце 8
Глава 3. Разговор о продаже 11
Глава 4. Сагра 15
Записка 1. Сагра del Pesce (1946–1957) 20
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Порто-Ленто. Пропавшая чаша

Глава 1. Первый u Scetino

Я тогда ещё не умел писать и поэтому видел всё точнее. Сейчас, когда перечитываю свои старые тетради, я понимаю: весна 1958-го началась не с цветения и не с рыбы. Она началась с ветра.

В Порто-Ленто весенний ветер имеет имя — *u Scetino*. Это не бора, не мистраль и даже не тот тёплый *libeccio*, который гонит тучи. *U Scetino*— это пробуждение. Он приходит с юго-запада, несёт запах моря, но не тот солёный, зимний, а смешанный с чем-то зелёным, ещё не различимым. Первый *u Scetino*года — это город открывает окна. И в тот вторник, пятнадцатого апреля, окна в Порто-Ленто открылись все, хотя я этого сразу не заметил.

Я закончил почтовый обход к шести. В апреле солнце садится позже, чем осенью, но сумерки уже длинные — косой свет, который старики называют «зелёным». Я стоял у дверей пансиона Ольги, пересчитывая письма, когда услышал за спиной:

— Микеле. Вы всё ещё носите чужие слова?

Я обернулся. Она стояла на тротуаре, придерживая шляпу, хотя ветер был лёгкий — уже не зимний порыв, а что-то вроде приглашения. Элеонора Вигевано. Нора. Второй раз в Порто-Ленто, и впервые весной.

— А вы всё ещё приезжаете в не своё время, — сказал я.

Она улыбнулась. Это была наша старая игра — она приезжала осенью, когда город принадлежал штормам, а теперь приехала в апреле, когда город ещё не знал, что с ним делать. Между сезонами. Между зимой и первой паламидой.

— Я приехала посмотреть на дрок, — сказала она.

— Дрок цветёт на террасах. Вы это знаете лучше меня.

— Я приехала посмотреть, как *вы*смотрите на дрок.

Ольга появилась в дверях с полотенцем на плече. Она увидела Нору, кивнула — не как хозяйка пансиона, а как человек, который уже получил письмо о приезде и успел всё приготовить. В Порто-Ленто письма приходят раньше людей. Это я обеспечивал.

— Окно ваше останется, — сказала Ольга. — Только теперь на восток. Утром солнце.

Нора вошла, чтобы оставить сумку. Я ждал на улице, пересчитывая оставшиеся письма. Мне оставалось разнести три конверта — один для казначея артели, два для дома у фонтана. Но я знал, что сегодня их не разнесу. Сегодня я нёс другое.

Когда Нора вышла, ветер усилился. Это был тот самый первый *u Scetino*— я понял это по тому, как закачались вывески. Они закачиваются иначе, чем зимой: не бьются, а качаются, как люди в очереди, которые знают, что их время пришло.

— Голодны? — спросил я.

— Я голодна всегда. Вы знаете.

— Тогда пойдёмте к Джино. Сегодня вторник, а во вторник у него бобы с пекорино. Это не меню — это устав.

Мы пошли по площади. В апреле она пустеет раньше, чем осенью, но иначе: не от шторма, а от сытости. Люди ужинают дома, рано ложатся, потому что завтра снова ждут рыбу. А рыба в том году не шла. Это было в воздухе — привычно, как ожидание дождя в засуху.

— Рыба не пошла? — спросила Нора.

— Вы читаете мысли, или я говорю вслух?

— Вы молчите. Но молчите по-разному, когда рыба есть и когда её нет.

Джино стоял у жаровни, хотя жарить было пока нечего. Он размешивал бобы в большом медном котле — не для продажи, а для тех, кто придёт. Увидев Нору, он не удивился. В Порто-Ленто удивляются только долгому отсутствию.

— Синьора Нора, — сказал он, как будто видел её вчера. — Бобы с пекорино. Артишоки, если хотите. Паламиды нет. Анчоусов нет. Ветер есть.

— Ветер достаточно, — сказала она.

Мы сели за столик у окна. Джино принёс бобы — тёплые, в оливковом масле, с листьями мяты, которую он выращивал в жестяной банке за спиной. Пекорино был резкий, молодой, апрельский. Нора ела медленно, как всегда, рассматривая каждую вещь.

— Вы изменились, — сказала она.

— Я постарел на два года. Это закон.

— Нет. Вы смотрите иначе.

Я не знал, что ответить. Тогда я ещё не знал, что она имеет в виду. Сейчас, спустя тридцать лет, я понимаю: она видела, что я начал смотреть не как почтальон, который носит, а как человек, который записывает. Но записывать я начал только в мае. В апреле я ещё просто носил.

После ужина мы вышли на площадь. Солнце село за горами, но свет ещё стоял — длинный, зелёный, весенний. Колокола пробили аве-марию, хотя в апреле они звонят позже, чем осенью. Я всегда знал время по колоколам. Это было моё расписание.

— Пойдёмте, — сказал я. — Я покажу вам кое-что, что не цветёт.

Церковь Nostra Signora del Rosario стояла открытой. В Порто-Ленто церковь не запирают до темноты — она работает, как фонтан, как пекарня, как почта. Мы вошли тихо, как входят в чужую кухню. Внутри пахло воском, мокрой известью и чем-то металлическим, тяжёлым — запахом старого золота, который я тогда ещё не умел различать.

Дон Джакомо стоял у престола, спиной к нам. Он что-то убирал — или готовил, или просто стоял, как он часто стоял, разговаривая с пустотой. Но на престоле, в луче вечернего солнца, который падал через высокое окно над алтарём, лежала чаша.

Я видел её сотни раз. Но в тот вечер, с Норой рядом, я увидел её вновь.

Она была небольшая — по масштабу тех времён, когда золото ценилось иначе. Тяжёлая, но не громоздкая. На ножке, в месте, где ножка переходила в чашу, была выгравирована рыба — простая, как детский рисунок, и при этом точная. Рыба, которая четыреста лет смотрела на море и ни разу не поплыла.

— Это чаша Паради, — шепнул я. — Дар капитана Бенедетто. XV век, если верить дону Джакомо. На ней присягали. На ней причащались. Она принадлежит приходу, но приход считает, что она принадлежит городу.

Нора не двигалась. Она смотрела на чашу так, как смотрела на растения — не с благоговением, а с вниманием. С тем вниманием, которое потом делало её опасной.

— Рыба, — сказала она.

— Ихтис. Древний знак.

— Нет. Просто рыба. Она не плавала.

Я не понял тогда, что она имеет в виду. Сейчас я понимаю: она говорила о названии. О книге. О нас.

Дон Джакомо повернулся. Он увидел нас, кивнул — не как священник прихожанам, а как сторож, который проверяет, заперта ли дверь. Потом он взял чашу обеими руками и ушёл в ризницу. Дверь ризницы захлопнулась тихо, по-весеннему, без эха.

Мы вышли на площадь. Свет всё ещё стоял — не дневной и не ночной, а какой-то третий, весенний. Ласточки носились под сводами старых домов, строя гнёзда в щелях, которые зимний шторм открыл, а весенний ветер не успел закрыть.

— Крыша течёт? — спросила Нора.

— Крыша всегда течёт. Это тоже устав.

— А чаша? Она тоже течёт?

— Чаша держит. Четыреста лет.

Мы сели на скамейку у фонтана. Вода в фонтане была ещё холодная, зимняя, но уже не ледяная. Нора протянула руку и коснулась струи.

— Я приехала посмотреть на дрок, — повторила она.

— А я думал, вы приехали посмотреть на нас.

Она посмотрела на меня. В её взгляде было то, что потом станет привычным: она видела меня, Микеле Гаравенту, почтальона, который носит письма и не умеет писать. И ей этого было достаточно.

— На вас тоже, — сказала она. — На вас тоже.

Свет стоял долго. Когда мы расходились — она в пансион Ольги, я домой, к матери, — небо ещё держало синеву на западе, над морем. Я шёл по каруджо и думал: вот она, весна. Не цветение, не рыба, не даже чаша. А то, что свет стоит дольше, чем ты ожидаешь. И ты идёшь домой не в темноте, а в этом ожидании.

Я тогда ещё не знал, что через две недели чаша исчезнет. Что Нора останется. Что я начну записывать.

Но это было потом. А сейчас — апрель. Сейчас — *и Scetino*. Сейчас свет ещё стоит.

✦

Глава 2. Лекция о пыльце

Среда, двадцать третье апреля. Ярмарка в Сан-Джорджо отняла у города полдня, и теперь город возвращал себе вечер — не спеша, с привычной жадностью к собственному времени.

Я не ездил на ярмарку. Почта не ездит на ярмарки, почта ждёт, когда ярмарка вернётся. А она возвращалась на автобусе Пепе — в шесть вечера, переполненная, дребезжащая, с пакетами на коленях и запахом сладкой ваты, которую там продавали, но не покупали: в Порто-Ленто сладкое считали детским, а дети уже выросли. Я стоял у почты и видел, как автобус поднимает пыль на повороте. В окнах мелькали лица — чужие и наши. Среди них, говорили потом, был и тот самый археолог. Римский. Приехал посмотреть на Торре Веккью, а заодно, как выяснится, и на наше серебро. Но в тот вечер он был просто чужаком с блокнотом, которого толпа на ярмарке не заметила. Город не замечает чужаков, пока они не начинают мерить.

Нора тоже не ездила. Когда я пришёл к пансиону Ольги в половине седьмого, она сидела на ступеньках, заправляя штанину в ботинок. Рядом — плоская корзина, какие носят для грибов, но в ней лежали не грибы.

— Вы опять собираете то, что не едят, — сказал я.

— А вы опять приходите вовремя, — ответила она. — Это редкость в Порто-Ленто.

— Я почтальон. Время — моя профессия.

— Тогда пойдёмте. У нас есть два часа света. После заката *cisto*не пахнет — он прячет запах вместе с цветом.

Я не знал слова *cisto*. Но я знал, что Нора использует итальянизмы только когда они точнее русских слов. Значит, это было растение, которое по-русски звучало хуже.

Мы пошли на террасы. Путь от площади к часовне занимает двенадцать минут в гору — я знал это по почте, по ногам, по дыханию. Нора шла быстрее меня, хотя ей было за пятьдесят, а мне двадцать четыре. Она шла, как идут те, кто смотрит вниз, а не вперёд: следила за тропой, за камнями, за тем, что росло между ними.

На полпути мы встретили Момо Бруно.

Момо был старше меня на двадцать лет, но в городе его называли «мальчиком» — не из-за ума, а из-за того, как он смотрел на вещи. Он помнил все места, где что цветёт, и всем местам радовался, как будто видел их впервые. В томе 1 он нашёл Тито. Теперь он нашёл ладанник.

— Синьора Нора! — крикнул он с тропы выше. — Вы идёте к *cisto*? Я вам покажу. Там, где камень с тремя полосками — помните, Микеле? Мы там в сорок четвёртом прятались от дождя.

Я помнил. Но не то, что там рос ладанник.

Момо повёл нас к камню. Под ним, в расщелине, рос куст — невысокий, серовато-зелёный, с листьями, похожими на оливковые, но мельче, суше. Цветы были уже отсветшие, остались только тёмные бутоны и жёлтые пятна на камне вокруг.

— *Cisto*, — сказал Момо, и в его голосе не было научного тона, был домашний, как будто он представлял родственницу. — Он пахнет только днём. Сейчас уже не пахнет. Но если потрогать — останется.

Нора наклонилась. Она не рвала ветки — она касалась. Кончиками пальцев, как касаются старых вещей в музее. Потом потёрла пальцы и понюхала.

— Сухая, — сказала она. — Каменная. Как будто пахнет самим склоном, а не цветком.

— Это потому что он растёт из камня, — объяснил Момо. — Из трещины. У него корни — не в земле, а в том, что держит землю.

Он ушёл так же внезапно, как появился — спустился к своему дому, к ужину, к вечерней молитве, которую он читал вслух, хотя жил один. Одна сцена. Одна рифма. Больше Момо к делу не приблизится — так завещала Библия, и так случилось.

Мы остались у камня. Свет стоял косой, зелёный — тот самый апрельский свет, который длится дольше, чем положено. Нора достала из корзины листок бумаги, пинцет и маленькую стеклянную баночку с пробкой.

— Теперь лекция, — сказала она.

— Я не просил.

— Вы не просили. Но вы принесли мне письмо из Милана с описанием нового вида *Erica*, и я должна расплатиться. В Порто-Ленто платят знаниями.

Она взяла мою руку — ладонью вверх, как гадалка. Потрясла над ней свежесорваный цветок акации, которую мы прошли минуту назад. На моей ладони осыпались жёлтые точки, едва видимые, но ощутимые — липкие, как пыльца, которую я знал по весенним лодкам. Рыбаки не пускали на борт «с горы» без обтряхивания — это была пыльцевая неделя.

— *Polline*, — сказала Нора. — Пыльца. Каждое растение пишет своё слово. Вот это — акация. Медовая, крупная, она летит за три дома и садится на всё, что встретит. А вот это — ладанник.

Она потёрла мою ладонь пальцами, и жёлтый налёт превратился в полосу — более тёмную, более грубую.

— Ладанник тяжелее. Он не летит за три дома. Он падает рядом, на камни, на одежду, на руки. Если вы найдёте этот налёт на вещи — вы знаете: вещь была у ладанника. Не у акации, не у дрока. У ладанника. На этом склоне.

— Это как дактилоскопия? — спросил я.

— Нет. Дактилоскопия — это след. А пыльца — это подпись. След говорит: кто прошёл. Подпись говорит: где был. Каждое растение цветёт в своё время, и каждое оставляет свою пыльцу в свою неделю. Значит, пыльца — это ещё и календарь.

Она отпустила мою руку. Я посмотрел на ладонь — жёлтое пятно, которое не отмылось бы сразу.

— Зачем мне это знать? — спросил я.

— Затем, что вы живёте в городе, где всё растёт, и никто не смотрит. А я смотрю. И записываю.

Она достала из кармана дневник — маленький, в клетку, с жёсткой обложкой. Открыла на последней записи: таблица с датами, названиями, маленькими крестиками.

— Дрок — с пятого по двадцать пятого апреля. Акация — с двадцатого. Ладанник — с двадцать третьего. Сегодня первый день ладанника. Я записала.

— А если что-то пропадёт? — спросил я, шутя. — Вы найдёте его по пыльце?

Она посмотрела на меня. В её взгляде не было шутки — было то, что потом, в мае, я назову «её методом». Но тогда я просто подумал: она смотрит слишком пристально для ботаника.

— Если что-то пропадёт, — сказала она, — и на нём останется пыльца, я скажу вам: где оно было. Не кто его взял. Где оно было. Это разные вещи, Микеле. Помните об этом.

Мы спускались вниз, когда солнце уже село, но свет ещё стоял — длинный, зелёный, как старый разговор, который не кончается, а просто затихает. На площади Джино закрывал жаровню — сегодня без рыбы, снова без рыбы. Он кивнул нам, не спрашивая, что мы делали на террасах. В Порто-Ленто не спрашивают, куда ходят вечером.

У дверей пансиона Нора остановилась.

— Ваше пятно, — сказала она.

Я посмотрел на ладонь. Жёлтый налёт оставался — тусклый, каменный, с запахом сухого склона.

— Оно смоется к утру?

— Нет, — сказала она. — Оно смоется, когда вы захотите. А пока — это ваша подпись. Вы были у ладанника. Двадцать третьего апреля. Запомните дату.

Я запомнил. Не потому что дата была важна. А потому что она сказала «запомните» так, как говорят о вещах, которые потом понадобятся.

Свет стоял долго. Когда я шёл домой по каруджо, ласточки всё ещё носились под сводами, и воздух пах акацией — медовой, далёкой, той, что летит за три дома. Я думал: вот она, весна. Не цветение, не рыба. А то, что на твоей руке остаётся жёлтое пятно, и ты не знаешь ещё, что это — след или подпись.

А было и то, и другое.

✦

Глава 3. Разговор о продаже

Четверг, двадцать четвёртое апреля. В Порто-Ленто четверг — это день, когда неделя уже устала, но ещё не видит конца. Рыба не пошла, и четверг пахнет ожиданием, которое перешло в привычку.

Я пришёл к Джино не за едой, а за разговором. В апреле 1958-го разговоры были важнее еды — потому что еда была, а вот уверенности в завтрашнем дне не было. Джино стоял у жаровни, хотя жарить было нечего, и чистил артишоки, которые привезли с утреннего рынка в Сан-Джорджо. Артишоки — это весенний знак: когда они появляются, значит, земля уже не зимняя, даже если море ещё не весеннее.

— Один? — спросил Джино. — Сегодня мелкие. Зато первые с рынка.

— Два. Нора придёт позже. Она на террасах.

— Она всегда на террасах. Город думает, что она там и ночует.

Я сел за столик у стены. Джино принёс вино — молодое, верментино нового года, ещё дерзкое, с запахом травы. Он налил себе тоже, хотя обычно не пил до вечера. Это было знаком.

— Слышал про реставратора? — спросил он.

— Какого?

— Генуэзского. Приезжал к кюре. Говорит: чаша старая, золотая, в частных руках стоит дороже, чем в церкви. Предлагает два миллиона.

Я не знал, сколько два миллиона лир. Но я знал, что Джино знает. Он вёл долговую книгу артели и считал быстрее, чем я пересчитывал письма.

— Два миллиона — это сколько? — спросил я.

— Это крыша. Вся крыша Nostra Signora. С запасом на колокол.

Я помнил крышу. Зимой 1957-го, после штормов, она протекала так, что в ризнице ставили вёдра. Дон Джакомо ходил по церкви с лестницей, подставляя тазы под струи, как будто ловил дождь внутри дома. Город смеялся, но тихо — потому что крыша была старше всех нас, и смеяться над старостью — это признавать свою.

— И кюре согласился? — спросил я.

— Кюре молчит. Но старшины знают. Дори говорил у жаровни в понедельник: «Если приход не может держать крышу, приход должен продать то, что держит вместо крыши». Все кивнули. Все поняли.

Я понял тоже. Но понял иначе, чем хотел бы. Я понял, что чаша — это не только золото. Это крыша. Это крыша над головой того, кто молится.

Нора пришла, когда солнце уже косило. Она принесла с собой запах террас — не цветов, а чего-то сухого, каменного, того самого *cisto*, который мы видели вчера.

— Вы говорите о деньгах, — сказала она, садясь. — Я слышала по дороге.

— В Порто-Ленто всё слышно по дороге, — сказал Джино. — Это не новость.

— Но вы говорите не о крыше. Вы говорите о чаше.

Она смотрела на меня, а не на Джино. Я пожал плечами.

— Чаша — это крыша. Крыша — это чаша. В этом городе всё равно.

— Нет, — сказала Нора. — В этом городе не всё равно. Вы просто ещё не знаете, чему равно.

Она взяла артишок, который Джино подал ей, и стала есть пальцами, как едят в деревне — не из деревни, а как деревенские, которые не боятся испачкать руки. Я смотрел на её руки и думал: она приехала посмотреть на дрок, а смотрит на нас. И видит то, что мы не видим сами.

Вечер прошёл тихо. Мы говорили о рыбе, о ветре, о том, что Ренцо копит на вторую лодку и что мать его беспокоится. Но под разговором лежал другой — о чаше, о двух миллионах, о

крыше, которая течёт четыреста лет и которую никто не может починить, потому что чинить — значит признать, что она стара.

Когда мы вышли, площадь была пуста. Свет лежал длинный и зелёный, и откуда-то пахло акацией — она цвела за углом, не показывалась, но напоминала о себе каждым порывом ветра.

✦

Пятница, двадцать пятое апреля. День, когда всё должно было быть спокойно, но не было.

Я нёс письма мимо фонтана, когда услышал крики. Не громкие — не те крики, что на рынке, а те, что домашние, когда стены тонкие и слова режутся о камень.

Марко Сольдо и Элиза Сольдо стояли у фонтана лицом к лицу. Они были мужем и женой тридцать лет, а супруги в этом городе враждовали дольше, чем помнили причину, — и почти всегда кричали не про то, что болело.

— Ты знаешь, что это наша вода! — кричала Элиза. — Ты знаешь, что наш шланг!

— Наш шланг — это мой шланг, пока я его чиню! — кричал Марко. — Ты поливаешь свои бобы нашей водой тридцать лет, и вдруг весной 1958-го это стало воровством?

— Вдруг весной 1958-го ты стал считать капли!

Они не заметили меня. Или притворились, что не заметили — в Порто-Ленто это одно и то же. Я прошёл мимо, не останавливаясь. Почтальон не вмешивается в ссоры. Почтальон несёт письма.

Но я запомнил. Запомнил, что ссора была громкой — громче, чем положено в апреле, когда все ждут рыбу и молчат о своём. Запомнил, что Марко кричал «тридцать лет», а Элиза кричала «капли». Запомнил, что Марко, когда кричал, держал ладонь у кармана рубахи — туда, где рыбаки держат деньги и бумаги. Я не видел, что там. Я видел, как он держит.

Запомнил ещё: на прошлой неделе Марко стоял у пристани с человеком, которого я не знал. Чужой пиджак, чужие ботинки, голос, как у тех, кто привык, что его слушают. В Порто-Ленто чужак виден за три улицы — почтальон знает, кому он должен принести письмо, а тому письма не было.

Они стояли у фонтана, а не во дворе — значит, ссора была не про воду. Значит, была про другое.

Я не знал тогда, про что. Сейчас я знаю: Марко уже догадывался. Он чувствовал, что Элиза что-то держит, и кричал про воду, потому что про чашу кричать нельзя. И знал, что в кармане рубахи лежит бумага, о которой нельзя кричать тем более. Это было прикрытие. Громкая дружба, которая выглядела как вражда.

Но тогда я просто прошёл мимо и отнёс письма.

✦

Суббота, двадцать шестое апреля. День, когда всё изменилось, но никто этого не заметил.

Утренний обход был коротким — суббота в Порто-Ленто это день, когда почта приходит рано и уходит рано. Но среди писем было одно, которое я сразу отметил: конверт из Генуи, с печатью канцелярии, адресованный дону Джакомо, кюре Nostra Signora del Rosario.

Я знал, что это письмо из Генуи. Я знал, что оно пришло после разговора о реставраторе. Я не знал, что в нём — но знал, что оно тяжёлое. Не по весу. По тому, как оно лежало в моей сумке.

Я нашёл кюре в ризнице. Он сидел за столом, где вели приходскую книгу, и что-то записывал — цифры, я видел цифры. Когда я вошёл, он закрыл книгу. Не быстро, не трусливо. Просто закрыл, как закрывают дверь, когда заходят.

— Письмо, отец, — сказал я.

Он взял конверт. Посмотрел на печать. Потом на меня.

— Спасибо, Микеле.

— Из Генуи, — сказал я, не спрашивая.

— Из Генуи, — подтвердил он.

Он не открывал письмо при мне. Это было не учтивое ожидание — это было что-то другое. Он ждал, пока я уйду, потому что письмо было для него одного. Или потому что он боялся того, что в нём. Или и то, и другое.

Я вышел. Стоял на площади, пересчитывая оставшиеся письма, и видел, как кюре вышел из церкви. Он шёл не домой — дом был за церковью, двадцать шагов. Он шёл к фонтану.

Он сел на скамейку у фонтана — ту самую, где мы с Норой сидели в первый вечер. Он сидел долго. Я видел его из окна почты, когда раскладывал конверты. Он сидел, держа письмо в руках, не открывая. Солнце падало на него косо, зелёным апрельским светом, и он сидел неподвижно, как статуя, которую забыли освятить.

Потом он открыл письмо. Прочитал быстро — один взгляд, два. Сложил. Положил в карман сутаны. И сидел дальше.

Я не знаю, сколько он сидел. Я ушёл с почты, а когда вернулся — его уже не было. Скамейка была пуста, и только вода в фонтане плескалась так же, как плескалась до него.

Нора пришла к Джино к вечеру. Я сидел там, потому что суббота — единственный день, когда Джино делает жареных анчоусов, если анчоусы есть. Их не было. Но мы сидели.

— Вы видели кюре? — спросила она.

— Видел. У фонтана. Читал письмо.

— Он читал или сидел?

— Сначала сидел. Потом читал. Потом снова сидел.

— И что потом?

— Потом ушёл. Не домой. Не знаю, куда.

Нора помолчала. Она взяла вино, которое Джино налил ей, и не пила — просто держала, смотря на прозрачную жидкость, как смотрят на воду в колодце, пытаясь увидеть дно.

— Он был не своим, — сказала она. Не вопрос.

— Он был кюре. Он всегда свой.

— Нет. Сегодня он был не своим. Я видела его у фонтана, когда шла с террас. Он сидел и смотрел на чашу, которой не было.

Я обернулся. Но кюре уже не было у фонтана. Там была только вода, падающая в воду, и свет, который стоял дольше, чем положено.

— Завтра сагра, — сказал я. — Последнее воскресенье апреля. Чаша будет на мессе. Весь город увидит.

— Весь город увидит, — повторила Нора. — А кто посмотрит?

Я не ответил. Мы сидели, пока свет не начал уходить — тихо, по-весеннему, оставляя за собой запах акации и что-то ещё. Что-то, что я тогда не мог назвать. Сейчас я знаю: это был запах решения. Решения, которое ещё не было принято, но уже пахло.

Когда мы расходились, Нора остановилась у дверей пансиона.

— Микеле. Вы помните, что я говорила про пыльцу?

— Помню. Подпись. Календарь.

— Завтра сагра. Будет много людей. Будет много рук. И на руках — пыльца. Всякая. Запомните: кто касается чаши, тот оставляет подпись.

— Вы думаете, кто-то коснётся чаши?

Она посмотрела на меня. В её взгляде не было страха. Было то, что потом, в мае, я назову «её методом» — но тогда я просто подумал: она видит дальше, чем я.

— Всегда кто-то касается, — сказала она. — Вопрос — кто оставит подпись, которую мы потом прочитаем.

Она вошла в пансион. Я пошёл домой по каруджо. Свет ещё стоял — длинный, зелёный, с запахом акации и мокрой извести, которой побелили стены к празднику. Я думал: завтра сагра. Завтра чаша. Завтра весь город соберётся, чтобы увидеть, что у него есть.

А потом — потом, через ночь — чаша исчезнет.

А пока — суббота. Кюре сидит у фонтана, держа в кармане письмо, которое изменит всё. И никто об этом не знает. Даже я, который видел.

Особенно я.

✦

Глава 4. Сагра

Воскресенье, двадцать седьмое апреля. В Порто-Ленто последнее воскресенье апреля имеет имя — *Sagra del Pesce*, праздник рыбы, хотя рыба в том году не шла. Но праздник не отменяется из-за отсутствия рыбы. Праздник отменяется только из-за отсутствия города.

Я проснулся рано, до колоколов. В апреле солнце встаёт раньше, чем в октябре, и свет просачивается через ставни раньше, чем ты решаешь, что пора вставать. Мать уже ходила по кухне — в воскресенье она ходила тише, потому что воскресенье было её днём, а не моим. Я оделся и вышел, пока она не успела спросить, куда.

Площадь встречала меня запахом дыма. Не трубочного и не печного — дыма от жаровен, которые Джино и два помощника разводили с пяти утра. Жаровни стояли в ряд у стены церкви, большие, чёрные от сажи, с длинными ручками, которыми мешали угли. В них ещё не жарили — просто грели угли, чтобы к одиннадцати всё было готово.

— Микеле! — крикнул Джино. — Неси дрова, если хочешь есть.

— Я хочу есть всегда.

— Тогда неси.

Я нёс. Это был мой неофициальный долг — в дни сагры я был не почтальоном, а человеком, который носит. В Порто-Ленто это не унижение. Носить — значит быть нужным.

К одиннадцати площадь наполнилась. Не до краёв — в апреле не бывает до краёв, это не август, когда туристы заполняют каждую щель. Но наполнилась своими: старики на скамейках, женщины с детьми, рыбаки в лучших сортах, хотя лучшие сорта рыбаков отличались от лучших сортов земляных только запахом. Все были в праздничном — не новом, а чистом. Том, который стирали к празднику.

Нора пришла, когда колокола начали звонить к мессе. Она стояла у фонтана, в том же платье, что и вчера, но с другой шляпой — белой, с широкими полями, которую ветер срывал, и она придерживала её обеими руками, как держат тарелку.

— Вы идёте в церковь? — спросила она.

— Я иду туда, куда идёт город, — сказал я. — Сегодня это церковь.

Мы вошли вместе. Внутри пахло не воском — воском пахло всегда. Сегодня пахло воском, ладаном и чем-то ещё, чего не было в обычные дни. Праздничным. Может быть, это был запах людей, которых было больше, чем вмещала церковь. Может быть, это был запах ожидания.

Дон Джакомо служил мессу. Он служил простым сосудом — таким, каким служил всегда, без театра и без скуки. Но сегодня на престоле, в луче, который падал через то же высокое окно, что и вечером пятнадцатого апреля, стояла чаша.

Она стояла на бархате — тёмно-зелёном, почти чёрном, с выцветшими краями. Свет падал на неё так, что рыба на ножке казалась живой — не плывущей, а готовой к прыжку. Кюре поднимал её обеими руками, и я видел, как его пальцы обхватывали чашу — не как священник, а как человек, который знает вес каждой вещи в этом здании.

Нора смотрела. Она смотрела не на кюре, а на чашу. На руки кюре. На то, как свет ложился на золото.

— Вы видите? — шепнула она.

— Вижу чашу.

— Вы видите, как он держит?

— Он держит, как всегда.

— Нет. Сегодня он держит, как прощается.

Я посмотрел на кюре. Он поднимал чашу над головами, и его лицо было тем же, что всегда — спокойным, уставшим, добрым в том смысле, в котором доброта — это привычка, а не выбор. Но Нора видела иначе. Она видела то, что я увижу только через месяц.

Месса кончилась. Люди выходили на площадь, где Джино уже жарил. Но не рыбу — рыбы не было. Жарились бобы, артишоки, куски хлеба, смазанные чесноком и маслом. Это была сагра без рыбы, но никто не называл её иначе. Название важнее содержания — это тоже устав.

Я стоял у жаровни, помогая перекладывать, когда подошёл Дори. Старшина артели, тот самый, который в понедельник говорил про крышу.

— Микеле, — сказал он тихо. — Ты видел кюре после мессы?

— Он в ризнице. Убирает сосуды.

— Он убирает долго. Скажи ему, что старшины ждут. Не сегодня — завтра. Но скажи.

Я кивнул. Дори ушёл к своим — к Терезе, к Нино, к тем, кто стоял у жаровни и делал вид, что ест. Я знал, о чём речь. О чаше. О двух миллионах. О крыше, которая течёт.

Но я не пошёл к кюре. Я пошёл к Норе, которая стояла у фонтана и смотрела на воду.

— Вы не едите? — спросил я.

— Я смотрю, — сказала она. — Сегодня все смотрят. На что — не важно.

— На чашу?

— На то, как город смотрит на чашу. Это разные вещи.

Она была права. Город смотрел на чашу не как на золото. Город смотрел на неё как на счёт — на то, что можно потерять, но нельзя продать. Я это понял тогда, хотя не знал, как назвать.

✦

Вечер сагры — это не вечер, а затухание. Жаровни гаснут к одиннадцати, потому что угли не вечны, и дрова стоят денег. Площадь пустеет к одиннадцати тридцати, потому что в апреле холодно сидеть на скамейках после заката, даже если закат был тёплым.

Я помогал Джино гасить угли. Нора ушла в пансион после девяти — она устала, сказала, и я поверил. В те дни я верил всему, что говорили женщины, особенно если они говорили тихо.

Когда мы закончили, площадь была пуста. Только фонтан плескался, как всегда, и четыре фонаря горели — один у начала каруджо, три на площади. Я сел на скамейку, где сидел кюре в субботу, и смотрел на церковь.

Дверь ризницы открылась. Дон Джакомо вышел. Он был в сутане, но без наплечника — вечерняя, домашняя сутана. Он запер дверь ризницы ключом. Потом стоял у двери, держа ключ в руке, и смотрел на площадь.

Я хотел подойти, спросить про старшин. Но он стоял так, что подходить было невозможно — не потому что он был священником, а потому что он был человеком, который стоит один, и это его право.

Он повернулся и пошёл к бару «Roma». Я знал, что он пойдёт туда — в дни сагры он всегда прощался с последними у бара. Это был его ритуал: стакан воды, разговор о погоде, рукопожатие. Потом — домой.

Я пошёл домой. Мать уже спала. Я лёг, не раздеваясь полностью — в апреле ночи ещё прохладные, и одежда на теле — это тепло, которое не нужно добывать из одеяла.

✦

Ночь двадцать седьмого — двадцать восьмого апреля. Я спал. Это важно: я спал. Я не видел ничего, не слышал ничего, не знал ничего. И если бы кто-то спросил меня утром, я бы сказал: ночь была тихая. Потому что все ночи тихие, когда ты спишь.

Но потом, когда я узнал, я стал вспоминать. И вспоминал не то, что слышал, а то, что не слышал. Я не слышал колоколов после аве-марии — но в апреле аве-мария позже, и я мог бы не услышать. Я не слышал шагов на каруджо — но каруджо далеко от нашего дома, и шаги там не слышны. Я не слышал, как открывается ризница — но ризница заперта, и кто бы её открыл?

Я проснулся в шесть. Мать уже ходила по кухне, но тише, чем вчера — в понедельник она ходила тише, потому что понедельник был днём тишины после сагры.

Я вышел в семь. Почта открывалась в восемь, но я выходил рано, потому что любил утро — особенно понедельничное, когда город был сыт и устав, и улицы пахли пеплом от жаровен.

Фортунато бежал по площади.

Я видел его издалека — маленький, согнутый, в пальто, которое носил зимой и весной, потому что лето в Порто-Ленто короткое. Он бежал от церкви, к дому кюре. Бежал быстро, как бегут старики, когда боятся опоздать — не бегом, а скачком, с руками, которые не знают, что делать.

— Фортунато! — крикнул я.

Он остановился. Повернулся. Я увидел его лицо — оно было не испуганным, оно было пустым. Тот вид пустоты, который бывает, когда человек уже сказал себе всё, что можно сказать, и теперь идёт говорить другому.

— Микеле, — сказал он. — Чаши нет.

— Какой чаши?

— Чаши. Золотой. Она пропала.

Я побежал за ним. Мы пришли к дому кюре — маленькому, за церковью, с дверью, которую я никогда не замечал, хотя проходил мимо тысячу раз. Фортунато постучал. Дверь открылась сразу — кюре уже был одет, хотя было только семь утра.

— Отец, — сказал Фортунато. — Чаши нет. Я открыл ризницу — её нет.

Дон Джакомо вышел. Он был бледен — как бывают после новости, которую уже ждали. Он посмотрел на меня. На Фортунато. На церковь.

— Когда вы открыли? — спросил он.

— Только что. К мессе. Я запер вчера вечером, как всегда. Открыл сегодня — и нет.

— Вы заперли? — кюре посмотрел на Фортунато. — Вчера?

— В день сагры я запираю, отец. Вы знаете. Устав.

Кюре кивнул. Он кивнул медленно, как кивают, когда считают.

— Я видел её вчера вечером, — сказал он тихо. — Когда запирал ризницу. Она была там. Я сам положил её в футляр.

Фортунато замер. Я замер. Мы смотрели на кюре, и он смотрел на церковь.

— Вы запирали? — спросил Фортунато. — Вчера вечером?

— Я запирал, — сказал кюре. — Я видел её. Я положил её в футляр, на полку, где всегда. И запер.

Он говорил тихо, уверенно. Он говорил, как говорит человек, который повторяет то, что помнит. Или то, что решил помнить.

— Но в день сагры, — начал Фортунато.

— Я знаю устав, — перебил кюре. — Но вчера я запирал. После мессы. Фортунато, вы устали. Вчера была сагра. Вы заперли рано, а я вернулся и проверил. Это было поздно. Вы уже спали.

Фортунато замолчал. Он был стар, и в его глазах было смешение — усталость, сомнение, и что-то ещё. Что-то, что я тогда не понял. Сейчас я знаю: это был страх за внука. Нино был на воде в ту ночь. Фортунато знал это, и это знание мешало ему думать о чаше. Он думал о Нино, а не о ключах.

— Пойдёмте, — сказал кюре. — Посмотрим.

Мы пошли. Ризница была заперта — на замке, который Фортунато только что открыл. Внутри пахло воском и пылью. На полке, где стоял футляр, был пустой бархат — тёмно-зелёный, почти чёрный, с выцветшими краями. Футляр лежал открытым, как ракушка без жемчужины.

— Футляр, — сказал Фортунато. — Он здесь.

— Он здесь, — подтвердил кюре. — А чаши нет.

Я стоял у двери и смотрел. Я смотрел на пустой футляр, на бархат, на руки кюре, которые держались за край стола. Я смотрел и думал: вчера она была здесь. Вчера весь город видел её. А сегодня — нет.

— Это кража, — сказал Фортунато.

— Это пропажа, — сказал кюре. — Пока — пропажа. Кража — это когда знаешь, кто взял. А мы не знаем.

Он повернулся ко мне.

— Микеле. Ты — почта. Ты знаешь, когда приходят письма. Приходило ли что-нибудь... необычное?

Я подумал о письме из Генуи. О письме, которое кюре читал у фонтана. О письме, после которого он сидел, как статуя.

— Нет, — сказал я. — Ничего необычного.

Я солгал. Не потому что хотел защитить кюре. Я солгал, потому что не знал, что это значит. Письмо из Генуи — это было деловое письмо. Деловые письма не воруют чаши.

Кюре кивнул. Он кивнул, как кивают, когда получают ответ, который ожидали.

— Тогда — пропажа, — сказал он. — Сообщим старшинам. И помолимся.

Мы вышли. Солнце уже стояло над горами, и свет был не зелёный, как вечером, а белый, утренний, безжалостный. Я шёл к почте, а Фортунато шёл к Дори. Кюре остался у церкви — стоял у двери, смотрел на площадь, на жаровни, на то, что вчера было праздником, а сегодня стало местом преступления.

Я дошёл до почты к восьми. Дверь была ещё заперта — я открывал её сам, ключом, который висел у меня на шее. Я сел за стол, взял чистый лист бумаги и написал: «Пропала чаша. Nostra Signora del Rosario. Порто-Ленто. 28 апреля 1958.»

Это был не дневник — дневник я начну только в мае. Это был телеграф. Я написал его, потому что почтальон должен сообщать. Даже когда не знает, что сообщать.

Я сидел и смотрел на лист. Потом добавил: «Кража без взлома. Ключи на месте. Никто не видел.»

Я вычеркнул последнюю строку. Потому что это было неправдой. Кто-то видел. Кто-то всегда видит. Просто не говорит.

Я сложил лист и положил его в ящик стола. Он лежал там до мая, когда я начал дневник и переписал его. Но тогда, в тот понедельник, я просто сидел и смотрел на пустую площадь.

Нора пришла к десяти. Она стояла в дверях почты, в том же платье, что и вчера, но без шляпы. Волосы были растрёпаны, как будто она не расчёсывалась утром — или как будто ветер, который вчера срывал шляпу, теперь трепал волосы.

— Вы знаете? — спросила она.

— Знаю.

— Когда?

— Утром. Фортунато нашёл.

— А вы?

— Я ничего не нашёл. Я спал.

Она вошла. Села на стул напротив. Посмотрела на мои руки — на ладони, которые вчера ещё несли дрова для жаровен.

— Вы спали, — повторила она. Не вопрос.

— Я спал. Весь город спал.

— Нет, — сказала она. — Не весь.

Она посмотрела на окно. На церковь. На площадь, где жаровни уже остыли, и пепел развевался ветром, который с утра дул с моря — не *и Scetino*, а обычный, рабочий ветер.

— Кто-то не спал, — сказала она. — И он оставил подпись. Мы её ещё не видим. Но она здесь.

— Где?

— Где-то. На чём-то. В пыльце, в воске, в бархате. На руках. На словах.

Я посмотрел на неё. Она была не испугана. Она была... сосредоточена. Как тогда, на террасах, когда смотрела на *cisto*.

— Вы думаете, её найдут? — спросил я.

— Нет, — сказала она. — Не сразу. Но я думаю, что она оставила след. И я думаю, что этот след — не золото. Это то, что золото не стирает.

Она встала. Поправила волосы — не расчёсывая, просто поправила, как поправляют шляпу.

— Я пойду к часовне, — сказала она. — Не потому что она там. А потому что оттуда видно всё.

— Что видно?

— Куда уходит вода, — сказала она. — И куда уходит свет.

Она ушла. Я сидел за столом и смотрел на пустой лист, который так и остался пустым. Потом я взял его, выбросил в печку, и начал раскладывать письма для утреннего обхода.

Потому что почта не ждёт. Почта несёт. Даже когда пропадает чаша. Даже когда город перестаёт быть своим. Даже когда свет, который вчера ещё стоял, сегодня уже — не тот.

А был ли он когда-нибудь тот?

Это я спрошу себя через тридцать лет. А тогда, в тот понедельник, я просто нёс письма — тяжёлые, лёгкие, чужие, свои — и чувствовал, что каждое из них теперь весит больше. Потому что в городе, где пропала чаша, каждое письмо — это вопрос. И каждый конверт — это тайна, которую кто-то уже открыл, а кто-то — ещё нет.

✦

Записка 1. Сагра del Pesce (1946–1957)

История одной жаровни и спора, который не кончился никогда, пока не кончился сам праздник, но это уже другая история, и она не для этой записки, потому что эта записка заканчивается 1957-м, и точка — так завещал мне сам себе, когда садился писать её в 1988-м, потому что 1958-й уже принадлежит другому дневнику, и пусть остаётся там, где он есть, в своей тетради с кораблём на обложке, который тогда ещё не знал, куда плывёт, а я уже знал, но молчал, как молчат все, кто доплыл и не хочет портить плавание тем, кто ещё в море.

Но это — лирическое отступление, а записка должна быть точной. Как сковорода Джино. Но об этом ниже. А пока — начало. Точнее — послевоенное начало. 1946-й.

Когда рыба была, а жаровен — нет. Или почти нет. Или была одна, и она принадлежала не городу, а человеку по имени Баттиста Паради, деду нынешнего Баттисты-младшего, который тогда ещё не родился, а его дед был жив и держал единственную сковороду в Порто-Ленто, потому что до войны он был кузнецом в Специи, и когда вернулся — вернулся с сковородой, а не с женой, потому что жена умерла от тифа в сорок третьем, и он не говорил об этом, но сковороду чистил каждый вечер, как другие чистят фотографии.

Сковорода была большая — метр двадцать в диаметре, чугунная, с ручками, для которых нужны были двое мужчин, и с дном, которое помнило рыбу ещё с тех времён, когда рыба не была редкостью, а была просто рыбой.

И в 1946-м, в первое послевоенное весеннее воскресенье, которое случилось быть последним апрельским (потому что праздник тогда ещё не имел устава и даты, и просто совпало), Баттиста-старший пожарил на своей сковороде анчоусов.

Первых после войны. Первых, которых поймали не для рынка, а для праздника. И город собрался — не весь, но те, кто помнил, что такое праздник без голода.

И тогда кто-то сказал: «Надо делать каждый год». И кто-то другой сказал: «Но сковорода — одна». И Баттиста ответил: «Сковорода — моя.

Но рыба — ваша. Приносите рыбу — я жарю. Не приносите — жарю воздух. Я кузнец. Я умею жарить всё». Так появилась Сагра del Pesce.

Не по указу, не по благословению, а по сковороде. И последнее воскресенье апреля стало датой не потому, что кто-то выбрал, а потому что в 1946-м оно так выпало, и в 1947-м повторилось, и к 1950-му уже стало уставом, который никто не записывал, но все помнили, как помнят, когда жаровня.

В 1952-м Баттиста умер. Сковорода осталась. Но оказалось, что никто не знает, чья она теперь — по закону, по наследству, по праву кузнеца, который умер, не оставив завещания, кроме сковороды, которая стояла в его сарае и ржавела, потому что сын его, отец нынешнего Баттисты-младшего, был пьяницей и не чистил её.

Тогда Джино — которому было тогда двадцать пять, и который ещё не был Джино у жаровни, а просто Джино, сын погибшего на войне рыбака, — взял деньги, которые скопил на лодку (которую так и не купил), и заказал в Специи свою сковороду.

Меньше, чем у Баттисты. Метр ровно. Но новая. С блестящим дном. С ручками, которые мог держать один человек, если он сильный.

И в 1953-м, на Сагре, стояли две жаровни. Баттистина — ржавая, большая, пустая, потому что никто не знал, кому она принадлежит, и боялись трогать.

И Джино — новая, меньшая, но с анчоусами, которых хватило на полгорода. И тогда начался спор. Спор, который не кончился никогда, потому что он был не про сковороды, а про то, чья рыба вкуснее, чья жаровня честнее, чья память длиннее.

Старики говорили: «Баттистина сковорода — история. Она помнит войну. Она помнит голод. Джино — ничего не помнит. Она новая». Джино отвечал: «Ваша сковорода ржавая.

Моя — чистая. Ваша — пустая. Моя — полная. История не кормит. А я кормлю». И каждый год, с 1953 по 1957, спор повторялся.

Каждое последнее воскресенье апреля. Две жаровни. Два лагеря. Город, который делился не надвое — а на тех, кто помнил, и тех, кто хотел есть.

В 1955-м ржавая сковорода Баттисты наконец проржавела насквозь. Её выбросили в море ночью, без свидетелей, чтобы не было скандала.

Но утром все знали — потому что в Порто-Ленто ночью никто не выбрасывает ничего без свидетелей, просто свидетели молчат, и это тоже устав. Джино остался единственным.

Но спор не умер. Потому что теперь старики говорили: «Джино, твоя сковорода — хорошая. Но она не Баттистина. Ты не кузнец.

Ты — сын рыбака. Рыбак жарит иначе, чем кузнец. Кузнец жарит железо. Рыбак жарит рыбу. Ты — жаришь рыбу. Но не как кузнец».

И Джино молчал. И жарил. И каждый год добавлял в огонь что-то своё — веточку розмарина, каплю уксуса, щепотку соли, которую он варил сам, из морской воды, в той самой жестяной банке за спиной.

И в 1957-м, в последнее воскресенье апреля, когда рыба ещё шла, и анчоусы были, и паламида подходила к берегу, и город праздновал как прежде — не зная, что это последний раз, — тогда Джино пожарил анчоусов, и старик по имени Дори (да, тот самый, который потом стал старшиной артели и говорил про крышу) подошёл к жаровне, взял анчоуса, съел, и сказал: «Джино.

Твоя сковорода — меньше. Но твоя рыба — больше. Я запомню». И Джино ответил: «Запоминайте. Потому что сковорода — это железо.

А рыба — это память. И память не ржавеет». Это было в 1957-м. Последнем настоящем году Сагры del Pesce. Последнем, когда рыба была. Последнем, когда спор имел смысл.

Последнем, когда две сковороды — одна ржавая, другая новая — ещё могли стоять рядом и не стыдиться друг друга.

В 1958-м рыба не пошла. Сагра состоялась — но без рыбы. С бобами. С артишоками. С хлебом, смазанным чесноком. И спор умер.

Потому что спорить о сковороде, в которой нет рыбы, — это спорить о гробе, в котором нет тела. Джино жарил. Но уже не спорил.

А я — я тогда стоял у жаровни и помогал ему. И не знал, что это конец. Не знал, что через две недели чаша исчезнет. Не знал, что сагра без рыбы — это не просто плохой год.

Это знак. Знак того, что город меняется. Что железо остаётся, а рыба уходит. Что память ржавеет, если её не кормить. Но это — из другого дневника. Из того, где корабль уже уплыл.

А эта записка — про сковороды. Про спор. Про первый жареный анчоус после войны, который я ел в 1946-м, когда мне было двенадцать, и который я помню лучше, чем все анчоусы, что были после.

Потому что первый — это не вкус. Это время. А время — не ржавеет. Даже в сковороде, которую выбросили в море ночью, без свидетелей, и которая теперь лежит на дне, покрытая водорослями, и, может быть, кормит рыбу, которую когда-то жарила.

И это — справедливость. Своя. Сковородная. 1988, октябрь. Микеле Гаравента, бывший почтальон, ныне — писатель, который всё ещё не знает, куда плывёт его корабль, но уже знает, что море — бесконечно, и что это не плохо.

Просто — долго.

✦

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.